

С. Бельский

Куда ворон костей не заносил

Сборник рассказов

Двое

Пароход «Мария» много дней блуждал в тумане, который несся за нами с севера над пустынным, злобно ревушим Охотским морем. В полдень проглядывало солнце, утомленное, тусклое и его печальные бледные лучи скользили по черной воде, глубоко вспаханной для невидимого сеятеля исполинскими плугами, которые шли по слабо изгибающимся линиям от берегов Сибири к Алеутским островам. И тогда с палубы «Марии», заваленной бочками, ящиками с рыбой, досками, канатами и сетями, мы видели, как за нами, закрывая половину неба, бесшумно двигались туманные птицы, похожие на пингвинов с широкими распростертыми крыльями, шли призрачные бледно-синие великаны в мехах, по пояс погруженные, в холодное море; чья-то рука, протянувшаяся из облаков, тащила сани, на вторых лежал кит со змеиной головой.

Туманные призраки оттеняли друг друга,

постоянно меняли форму и очертания и, обгоняя друг друга, спешили к югу, появляясь то справа, то слева.

Когда мы подходили к берегу, туманы рассаживались на высоких береговых горах и опустив в океан ноги, внимательно следили за маленькой черной «Марией».

От постоянной толчеи на поверхности воды кружилась голова, хотелось уйти в каюту, лежать с закрытыми глазами на твердом, кожаном диване, представляя себе прочную вечную землю, полосы несжатой ржи, пыльный проселок, убегающий неведомо куда, золотистый загар летнего вечера.

Но в каюте стоял тяжелый запах соленой рыбы, слышно было, как мучительно стонет и скрипит корпус «Марии», мысль невольно переходила к той бездне в черных отсветах, которая была тут, рядом с этим вытертым диваном, отделенная от него тонкой деревянной стеной.

По скользкой решетчатой лестнице, удерживаясь за жирные, грязные поручни поднимаешься на палубу и опять видишь ту же черную воду в глубоких, злобно шипящих бороздах, за кормой — процессию белых туманов и за ними — на бледном небе отсветы первых льдов.

Два раза «Мария» пыталась подойти к берегу на глухие стоянки, чтобы забрать рыбаков, и оба раза нам мешали ветер и прибой. В подзорную

трубу с капитанского мостика я видел, как под чёрными скалами, под которыми пенилась вода, заглушая голоса и крики с берега, бегали люди, таща с собой мешки и узлы, сдвигали лодки, которые океан сейчас же выплевывал на песок или выхватывал из рук, как голодный зверь кусок мяса, радостно кружил их в седых водоворотах, бил о скалы и глотал щепки, ящики, бочки и пеструю рухлядь.

Мы ничем не могли помочь, потому что пароход то и дело срывался с якоря и машина едва справлялась с волнами и ветром, гнавшими нас в черные челюсти, через которые плескался океан.

Наш пароход был последним в эту осень и для ладей на берегу вместе с «Марией» исчезала всякая надежда выбраться до зимы из каменной окружавшей их пустыни.

Отчаяние сводило их с ума. Они бежали вдоль берега, бросались к волнам, которые валили их с ног, и наконец, сбившись в кучку на каком-нибудь камне, махали нам шарфами, платками, становились на колени, грозили кулаками. Ни одно слово до нас не долетало. Все происходило так же бесшумно, как среди туманов, которые с седого моря, с горных вершин смотрели на палубу «Марии», на деревянные кособокие домишки, на мечущихся в отчаянии людей.

В третий раз нам удалось подойти к берегу.

Мы проскользнули в узком проходе, сорвав несколько досок с обшивки и потеряв якорь. Вдогонку океан послал нам высокую волну, которая разбилась за кормой, окатив ледяной водой всю палубу.

По хрустящему песку выбрались мы из лодки на крутой берег, затянутый сеткой мелкого Дождя, и, когда я одним взглядом окинул воду и землю, сердце мое сжалось от тоски и сожаления к тем, кто жил здесь долгие месяцы.

Солнце, казалось, никогда не освещало этот берег; на нем не было жизни, движения, красок.

Внизу грохотал океан, сегодня, как вчера, как тысячи лет назад. Ровный и протяжный гул наполнял воздух, не позволяя ни на минуту забыть о том, что за скалами расстилается древнее седое море, без грез, без красочных вымыслов, зовущих, манящих далей; без того другого берега, который чудится вдали и на котором нас всегда ждет новое счастье.

С темных гребней изгибистых волн на меня смотрело безглазое лицо каменного идола, жестокое и мертвенное, с едва заметной злой усмешкой в складках тупого рта.

— Нигде нет ничего! — грохотал океан. — Там, вдали только туманы, холодный блеск звезд, темные бездны и волны над ними!

Берег за скалами был плоский, без травы и

кустарников, усыпанный мелкими, острыми камнями. В глубине дремучей стеной, без изгибов, как сруб заброшенного дома, поднимались какие-то неведомые горы и на них лежали мертвенно бледные туманы.

В поселке было три дома, обращенных окнами к океану. Доски в стенах и крышах прогнили и рассыпались их труху. Ветер сорвал с петель двери, повалил трубы, и смел песок в длинные изгибистые гряды, похожие на гигантские буквы, начертанные на клочке земли между береговыми скалами и заброшенными строениями. Людей не было; они не дождались парохода и, боясь наступления зимы, бежали от океана через горы и теперь блуждали среди болот, заполнивших до краев глубокие впадины пустыни.

На полу, на столах и скамьях были разбросаны пустые жестянки, бутылки, лохмотья, сети еще сохранившие запах соленой воды, раскрытые сундуки и ящики с оторванными петлями и замками. В крайнем доме от берега на стене висела большая широкая доска, на которой было написано белой краской:

«Уходим, потому что боимся умереть, не знаем дойдём ли. Ефима Горлова похоронили на горе, но он сказал, что пойдет за нами, больше писать нечего, прощайте.

Андрей Тихов и товарищи ».

Мы с капитаном долго разбирали эту надпись, в которой строчки путались, будто лепились одна на другую, видно было, что писавшему стоило не мало усилий уместить на доске все то, что он хотел сказать. Последним словам не хватило места и они растянулись по стеке между окном и дверью. Как ни было угрюмо и тоскливо на берегу, но после двух недель, проведенных на пароходе, твердая земля казалась лучше палубы, и поэтому я и капитан остались на ночь в доме, из окон которого виден был угол залива, в который через морщинистые камни с воем и визгом ломился пьяный и буйный океан, испуганный своими белыми видениями.

Мы сидели на опрокинутых ящиках за столом срубленным из досок, долго служившими подводной обшивкой какого-то судна. Они были изъедены морскими червями и казались украшенными затейливой резьбой, на которой переплетались виноградные листья, сучья и веревки, связанные в узлы.

Мы пили горячий чай с коньяком, курили, смотрели на голые стены освещенные двумя свечами и думали каждый о своем.

Стекла в гнилых рамах дрожали под напором ветра. Сорванная с петель и плохо прилаженная дверь, стучала и рвалась с удерживающих ее веревок; иногда, она с грохотом летела куда-то в

темноту; в комнату врвался ветер, обдавал нас солеными брызгами и торопливо перебрасывался из угла в угол между наваленными в беспорядке ящиками. Свечи тухли; в темноте, было слышно, как матрос хохол Федорчук, кого-то ругает и с кем-то борется, прикрываясь дверью словно щитом. Капитан зажигал свечи и мы опять сидели молча, стараясь забыть, что кругом нас за стенами, на которых такие знакомые приветливые тени, распахнута безграничная пустыня с голыми камнями, печальные туманы над волнами и волны над бездной, голодной и жадной.

— Там была такая же комната и мы также сидели, как сидим теперь, — сказал капитан продолжая какую-то свою начатую мысль. — Что с ними случилось — как ты думаешь?

— С кем? — спросил я удивленный и неожиданным вопросом и обращением на ты.

Капитан засмеялся.

— У меня привычка разговаривать с братом, — сказал он. — Моего брата я не видел лет пятнадцать, он все собирался приехать сюда, пока ему не помешала смерть. В этих северных морях заедает тоска, скука, постоянное одиночество и, чтобы не молчать, я с ним разговариваю. Понимаете?

Я молча кивнул головой.

— Сейчас я вспомнил один случай,

непонятный, как многое тут, среди льдов, толчеи волн, карусели бурь и течений, которые вращаются от Берингова пролива до Японии.

Капитан говорил медленно и тихо. У него было широкое, мужицкое лицо, с добрыми карими глазами, в которых светилась та тоска по далекому, то спокойное и вечное устремление в даль, какое бывает у странников, у богомольцев, бродяг, у той святой Руси, что непонятная и чуждая всему идет в поисках новой неземной правды, по мягким степным проселкам, по дикой бездорожной тайге, по берегам северных морей, среди болот и каменных россыпей. Ищет, чему поклониться, не находит и мучительно никнет, гибнет, неразгаданная печально-прекрасная.

Мне он казался больше поэтом, чем капитаном, и я уверен, что в его каюте где-нибудь хранился альбом со стихами, которому капитан отдавал больше внимания, чем грузам «Марии».

— Тогда мы шли из Владивостока, — рассказывал он, умолкая, когда шум ветра и океана заглушал его голос. — Классных пассажиров было только двое, — муж и жена Изергины. Ехали они на рыбачье становище и вслух мечтали о жизни и работе в этой пустыне. Мне, говоря по правде, было неприятно слышать их лепет, который, как я это хорошо знал, скоро заглушит голодный вой океана, на том берегу, где они собирались жить. Но что

прикажете делать с людьми, которые видели только большие Города, начитались заманчивых рассказов, влюблены друг в друга до такой степени, что светятся от этой любви, от счастья быть вместе, вдвоем смотреть на волны, вдвоем читать, говорить и думать, как один человек. Они пробовали скрыть от меня свою любовь, отодвигались друг от друга, когда я проходил мимо них, придавали лицам равнодушное, скучающее выражение, но все это было так же смешно, как если бы я попробовал спрятать свою «Марию» на поверхности крошечного залива. Они скоро это поняли и перестали прятаться. Кажется, они немножко жалели меня, и я представлялся им чем-то в роде обломка дерева, который без цели носится по поверхности моря, пока его не разобьет в щепы какая-нибудь шальная волна и не проглотит под никому неизвестными утесами. За обедом она была хозяйкой и предупредительно клала мне и мужу лучшие куски, чистила фрукты, подливала вино и так как эта девочка — по росту и фигуре она казалась девочкой — не умела скрыть ни одной мысли, то хотя я и не привык к женскому обществу, все же ясно читал на её лице и в больших серых глазах постоянно одну и ту же мысль:

— Стыдно быть такими счастливыми, жить при свете и блеске солнца, рядом с этим одиноким капитаном, который половину дня торчит на

мостике, а другую половину валяется на диване в своей каюте и находит единственное утешение в коньяке и вине.

Ее муж заводил со мной и с моим помощником разговоры о неисчерпаемых богатствах севера, о недостатке предприимчивых людей, о скрытых миллионах и миллиардах, за которыми никто не хочет пойти и которые, по его словам, были рассыпаны по всем этим берегам, в море и в глубине материка. Я не спорил! Этот молодой человеку имел, по моему мнению, единственное. Сокровище — свою жену, которая стоила всех его сказочных миллионов.

А его планы... Но Боже мой! кто знает, что ждет человека здесь, где часто на тысячи верст нет никого, КТО услышал бы его голос, плач и жалобы. Я не возражал, потому что не хотел раздражать их обоих. Она представляла себе жизнь на рыбацьем становище, на берегу Охотского моря, чем-то в роде рождественских праздников. Приходит вечер. За окном ветер рассказывает длинную сказку, ему вторит ласковый старый океан... Эта маленькая глупая женщина представляла себе океан похожим на деда Наумыча, который у них дома где-то в Киевской губернии сидел на пасеке.

— Лицо в мелких морщинах, руки мягкие и теплые, белые волосы треплет ветер, а в руках шапка с ароматными прогретыми в траве яблоками,

и чашка с медом, в котором растворился солнечный свет. Ну так вот этот океан, похожий на Наумыча, ласково ходит под скалами, пока они сидят и празднуют свой вечный праздник, и вместе с ними болтает всякий вздор и смеется от счастья. Все это было глупо, но я молчал. В конце концов, какое мне до всего этого дело? Пусть едут, если хотят ехать! Я должен доставить их до Белого залива, высадить на берег с шестью рабочими, свезти пятьсот сорок пудов груза, — и прощайте! может быть, навсегда. Не так ли? Иногда, когда она сидела на палубе, ласково улыбаясь своими искрящимися глазами, в которых было больше света, чем на всем океане, и перебирала розовыми пальчиками кружева, какие-то ленточки, бантики, прошивки, куски батиста, которые она готовила для своего будущего ребенка, мне хотелось, чтобы море загрохотало, загремело всеми своими трубами, и туманы и волны начали свою бешеную пляску, но, как на зло, океан позолотил свои синеватые дали, которые стали похожи на старенький иконостас сельской церкви, спрятал седые космы и притворился тихим и грустным.

Я-то знал все его уловки и отлично видел, что он лжет всеми своими сияниями и позолотой, но бедная женщина и её муж все принимали за чистую монету. Только и слышишь:

— Смотри, Надя, какая волна, голубая в

золоте!..

— Скорее иди сюда! за кормой на море белые птицы, точно пруд с лебедями...

Я забыл весь тот вздор, который они нежно болтали друг другу, расхаживая между бочками, ящиками, просмоленными канатами и целями.

Была её весна. Она цвела, рассыпала лепестки, ветер подхватывал их и кружил на черной палубе над поверхностью моря, и всем на пароходе становилось веселее.

Капитан что-то сказал о стихотворении, которое он написал и оставил в каюте Изергиной, но буря еще раз сорвала двери, вломилась в комнату, и мы долго ждали, пока матрос закроет нас от ревушего мрака. Капитан перебирал тонкими пальцами седеющую бороду и молча смотрел в окно, в стеклах которого блуждали и колебались отражения свечей.

— Кто знает, что гонит человека к этим далеким скалам, голодным пустыням; заставляет без конца кружиться среди туманов и льдов, — продолжал он. В этих морях есть какое-то жуткое очарование смерти, странное, и необъяснимое предчувствие вечности, иного бытия. И хорошо себя чувствует здесь только тот, кто приносит в эту пустыню, освещённую загадочными, трепетными сияниями, смутное представление будущей жизни, неясное ожидание, волнующее надеждою

предчувствие новых бесконечных скитаний. Но тот, кто крепко связан с телом, сплетается с другими жизнями, боится от них уйти, — тот гибнет здесь, как лёд, вынесенный на простор южных морей.

— Ну, так вот, — вернулся он к своему рассказу, — муж и жена Изергины напоминали мне двух мотыльков с кружевными крыльями, носящихся над ледяною глыбой, обманутых её алмазными блестками и золотыми сверканиями.

На двенадцатый день мы подошли к Белому заливу. Изергины сошли с своими рабочими в лодки, которые ветер и волны быстро отнесли к скалистому берегу.

Осенью «Мария» и еще один пароход пытались подойти к новому маленькому поселку в Белом заливе, но на море была такая толчея, что мы не могли спустить лодок, и видели только верхушки чёрных скал, выставлявшихся из тумана.

Зимой во Владивостоке я часто представлял себе одну и ту же картину.

Ледяная буря мечется по пустынному, серому берегу, обвывая занесенные снегом бревенчатые домишки, в которых кучка людей, напрягая все силы, борется за жизнь, и среди них, истощённых трудом, холодом и голодом, бедная женщина, мечтавшая о вечном празднике. Я хорошо знал, что провизии хватит на всю зиму, но ранней весной придет голод. Я сам пережил как-то зимовку в

тяжелых условиях, и без особых усилий воображения мог нарисовать себе картину того, что должно было происходить на берегу Белого залива. Иногда я среди дня видел внутренность запущенной инеем избы. Белая изморозь ползет со стен на пол, по скамьям; все ближе и ближе к середине, где около догорающего огня молча сидит кучка людей. Тяжелый, отвратительный запах, прелой обуви и одежды, слабый свет лампы, или глиняных плошек, в которых горит тюлений жир, и за окнами неустанное дыхание бури, сливающееся с беспокойным шумом океана. На лица я умышленно не смотрел и видел только черные, тяжелые тени около красного, неровно вспыхивающего пламени, которое раздувал морозный ветер, со свистом и визгом врывающийся в трубу... Седой иней подползает уже к ногам, разметывается по кирпичной стене печи, в которой слабо вспыхивает последнее бледное пламя.

И потом мрак и тишина... Весна была холодная, с жестокими, бурными ветрами, шедшими от Берингова пролива, и «Мария» вышла в плавание только в конце июня. Я торопился, как мог, но все же до Белого залива мы добрались только на одиннадцатый день. Пустынный берег, чисто выметенный ветром, уставленный широкими скалами, о которые разбивались длинные волны прибоя, походил на огромный собор, за колоннами

которого слышалось нестройное пение; кто-то рыдал, гулкое эхо подхватывало все звуки и играло ими в глубокой каменной пустыне. За грядой береговых скал я увидел два дома, таких же, как и те, где мы сидим.

Медленно, боясь неожиданно встретить что-то страшное, шел я по хрустящему песку к этим бревенчатым срубам, похожим на колодцы, казавшимися до отчаяния жалкими и ничтожными рядом с распахнутой ширью океана. Там я нашел то же, что мы видели и здесь.

Вещи были разбросаны по полу и широким нарам, точно в большую мрачную комнату ворвалась буря.

Я тихо прикрыл двери и чувствуя, как бьется сердце, медленно пошел по едва намеченной тропинке к дому, который, как мне казалось, я часто видел из Владивостока и с палубы своего парохода. Поднимаясь, я оглянулся на залив и вдруг увидел Изергина. Он вышел откуда-то из-за скал, разбросанных по всему берегу, и, закрывая руной глаза от солнца, неторопливо шел в мою сторону. На лице его не было ни удивления, ни радости.

— Все хорошо, — сказал он равнодушным голосом, когда мы сошлись на узкой площадке под скалой, от которой веяло еще холодом зимней ночи. — Вы могли бы и не приезжать, — он протянул мне худую влажную руку с длинными

грязными ногтями.

— Где ваши рабочие? Где Надежда Дмитриевна? Как вы прожили зиму?..

Изергин улыбнулся печальной улыбкой и в глазах его я видел что-то пустое, мертвенно-бледное, как и в той безграничной пустыне, что окружала, нас.

— Рабочие еще осенью ушли туда, — он указал рукой к горам. — А Надя здесь, мы похоронили ее под тем большим крестом. Может быть вы ее увидите.

— Как же я ее увижу, если она, умерла?

Изергин посмотрел на меня взглядом, в котором было сожаление к моей ограниченности и сознание собственного превосходства. Так они оба смотрели на меня, когда я вез их к, Белому заливу.

— Пойдемте! — сказал он, перепрыгивая через камни и рытвины с такой легкостью, которая указывала на долгие бесконечные скитания по этому берегу. Молча дошли мы до двери. Изергин остановился на пороге и пропустил меня в комнату, пустую и мрачную, так как единственное окно было закрыто белым крестом, стоявшим снаружи у самой стены.

— Вот тут мы живем. Что делать? Надя постоянно жалуется на беспорядок и тесноту, но теперь уже ничто не переменится.

Изергин сел на скамейку и очень подробно

рассказал мне, как бежали рабочие, когда узнали, что им придется зимовать на этом пустынном берегу, рассказывал о бесконечной зиме, о болезни своей жены, которая умерла на той скамье, где он сидел, и видно было, что всё это давно перестало его волновать, было далеким прошлым, таким же чуждым, как и все то, что скрывал серый морщинистый океан.

Гудит прибой, плывут туманы, но человек смотрит только на что-то свое, глубокое, невидимое для всех окружающих. И, как тогда на пароходе, он, кажется, считал меня глубоко несчастным, потому что я не понимал, не мог понять того огромного, радостного, что видел где-то Изергин. И как тогда, он был скрытен, может быть, потому, что не желал огорчать меня своею радостью. Я молча слушал все, что рассказывал этот человек, оглушённый, подавленный бесконечными всплескиваниями волн, холодным сверканием звезд бесконечной зимней ночью, и отлично понимал по его улыбке, что он скрывает от меня что-то самое важное для него, без чего он давно перестал бы жить.

— Завтра мы уходим, — сказал я. Мне казалось, что мои слова не доходят до Изергина. — Соберите то, что желаете взять с собой; я пришлю матросов, они вам помогут.

Изергин отрицательно покачал головой и спокойно ответил:

— Я не поеду!

— Почему? Не можете же вы остаться один не этой безграничной пустыне.

— Потому что не хочу и не могу оставить ее одну. Вы только подумайте, что будет с нею?

— Но ведь она умерла!

Изергин молчал, почувствовав, что сказал что-то такое, чего не должен был говорить, и стал подозрителен и осторожен, как человек, у которого хотят отнять то, что для него дороже жизни.

— Желаю остаться и останусь! Ведь не увезете же вы меня отсюда насильно?

Я пожал плечами и не знал, что ответить.

Сгущались сумерки. Изергин зажѐг свечу в позеленевшем подсвечнике и неожиданно сказал с радостной улыбкой, обращаясь к кому-то невидимому в углу комнаты:

— Хочешь, я скажу все? ну, не все. Я ему расскажу только то, что ты желаешь.

Я встал.

— Послушайте, Сергей Николаевич, вам необходимо уехать. Уйдем сейчас отсюда! Ведь там, за океаном, весь мир, вся жизнь, а здесь только тяжелый сон, — он окончится навсегда, когда вы перейдете на палубу парохода.

Я говорил бессвязно, стараясь придать своему голосу всю возможную убедительность. Изергин не смотрел на меня. Он все еще что-то шептал,

расхаживая по комнате, задевал за разбросанные ящики и кивал головой, как будто слушал кого-то, кого не слышал я. Нет, нет, я не уеду! — повторил он решительно, приглашая меня сесть. — Мы хотим быть с вами откровенны. Вы знаете, Надя всегда чувствовала к вам доверие. Вот и теперь она сидит на, своем любимом месте у окна, справа от вас!

Если вы протянете руку, то дотронетесь до её платья, она вам кивает головой. Мы долго ждали «Марии», или другого парохода. Было холодно и темно. Надя заболела воспалением легких и потом случилось это! Когда я рубил могилу в мерзлой земле; то был тут один и кругом, как призраки ходили туманы. Потом она вернулась. И как же могло быть иначе?

— Смотрите, вот на окне лежит её работа, — Изергин с радостной, счастливой улыбкой дотронулся до кусков кисеи, сзади себя. — Но вы понимаете, есть многое, о чем я не могу сказать даже вам.

Мы сидели в мрачной комнате, осененной тяжёлым крестом, друг против друга, вот так же; как сидим теперь с вами. Так же шумел океан и всё, что говорил мне Изергин, покрывало могучее дыхание моря под скалами, шум ветра и эхо, разносившее далеко по каменным россыпям голос волн.

— Я здесь не один, со мной всегда она. Вот её стул, на котором она сидит, когда я обедаю. Надя, подойди сюда, к столу! Вот она, видите? Вся она.

Изергин поднял свечу над головой, освещая жуткую пустоту. Порыв холодного ветра откуда-то из невидимой щели задул свечу.

— Зажгите огонь! — крикнул я дрожащим от волнения голосом.

— Сейчас. Где же спички?

Он искал по столу, на окнах, а я стоял, охваченный ужасом, и в эту минуту мне казалось, что, кроме нас, кто-то третий есть в комнате.

Вспыхнуло слабое пламя, освещая черную, отвратительную нищету насквозь промерзшей избы. Изергин все так же спокойно улыбался.

— Теперь вы знаете почти все. Могу ли я ее оставить вот здесь? — он обвел рукой вокруг себя и засмеялся, до такой степени нелепой показалась ему самая мысль об этом. Я понял, что нет на земле такой силы, которая навсегда унесла бы его от этого берега, заслонила бы от него жалкую, черную комнату с белым крестом за окном.

— Прощайте, — сказал я, протягивая ему руку.

— Прощайте, — радостно ответил Изергин. И, когда он провожая меня, стоял на пороге, смотря то в темноту, где сверкали огни «Марии», то обращаясь в глубину комнаты, и благодарил меня

за то, что я не забыл о них, в его голосе было все то же, хорошо знакомое мне, сознание превосходства своего счастья, глубокого и таинственного, как океан.

Когда я сделал несколько шагов к берегу, мне вдруг показалось, что я слышу сзади себя заглушенные рыдания, и быстро вернулся.

— Не надо! ничего не надо. Я остаюсь...

Что же, может быть, он и прав? Человек всегда видит два сна, один скучный и тусклый, тот, где эти скалы и прибой, солнце и горы. Другой, — который он сам создает, и когда второй сон разрушит первый, тогда только возможно счастье, тогда наступает час полного освобождения.

Там, где шумит океан

На берегу залива Улан-Су жили старый тигр и китаец Ван-Чанг. Когда великая вода шумела под островерхими скалами, бросая в туман холодные брызги, Ван-Чанг прятался в свою нору, выкопанную в серой глине, курил опиум и считал годы, которые прошли с того времени, как он поселился на облачном берегу.

Иногда выходило тысячу лет, иногда больше, целая вечность.

Здесь время шло, как туманы над морем и горами.

Кто знает, откуда пришли и куда уйдут тучи, нависшие над зубцами Сихотэ-Алиня? Нельзя помнить вечно меняющегося лица неба. Вчера туманы стояли над морем, как войско, готовое к битве. Сегодня они лежат, как горы, обрушенные из зеленой выси на леса и голые крутизны.

В заливе Улан-Су не было времени. Иногда морозы приходили поздней весной, и по черной воде мимо берегов плыли с севера льдины, иногда зимой раздвигалась лиловая завеса, блестела металлическим блеском вода, шумел прибой и старый жёлтый тигр, щуря зеленые глаза, грелся на плоском белом камне.

Китаец не боялся ламзы, потому что полосатый хищник никогда не трогает того, кто совершает ему поклонение и почтительно уступает охоту. Залив с трех сторон был окружен горами, через которые не было дороги, и, чтобы не ссориться, человек и зверь поделили между собой добычу. Ван-Чанг владел всем морем и треугольным куском обработанной земли на берегу; все остальное принадлежало тигру. Если человеку удавалось убить дикую козу, заблудившуюся между скалами, он отдавал лучшее мясо могущественному желтому охотнику и просил у него прощение, совершая трижды восемнадцать поклонов.

В ненастье, когда иззубренные вершины гор

закрывались туманами и в почерневшем великом море, сливаясь с волнами, плыли, взбивая косматую пену, чешуйчатые змеи, тигр спускался к заливу и жил в чаще кустарников. Ван-Чанг, сидя у себя в землянке, куда ветер бросал брызги холодной воды, видел, как качались гибкие ветви и над кудрявой зеленью, обильно смоченной дождем, поднималась красивая голова зверя, с седыми пучками волос на маленьких ушах.

Тогда человек и зверь, разделенные широким пенистым ручьем, вступали в беседу.

Ван-Чанг медленно курил свою трубку, слушал, как шумит дождь, и терпеливо ждал, когда скука и усталость заставят жёлтого охотника заговорить с человеком.

Тигр был очень горд; он имел много поколений предков, царствовавших на всем хребте Сихотэ-Алиня, наводивших страх на все живое, и поэтому хотя скука заставляла его без конца кружиться на поляне между ручьем и кустарниками и зевать так, что хрустели челюсти, он не считал достойным для себя начинать беседу с Ван-Чангом.

Но и китаец мог неподвижно просидеть на своей циновке много времени, смотря на пену, которую ручей уносил к великому морю.

Тигр терял терпение и, подойдя к берегу, начинал грозить китайцу, проклиная туманы, ветер и дождь.

Ван-Чанг, не меняя позы, кротко улыбался и вежливо отвечал:

— Могущественный желтый охотник напрасно рассыпает проклятия. Туманы выходят из великой воды и в нее возвращаются и никто не может остановить их движения. Они идут овладеть высоким Сихотэ-Алинем и всей землей и будут приходить, пока на месте гор расстелется море. Каждый год новые камни устилают долину и, как пыль, уносятся к великой воде. Желтый охотник и я, слабый человек, исчезнем прежде, чем упадет Сихотэ-Алинь. Так будет.

Тигр клал голову между вытянутыми лапами, мурлыкал и обдумывал ответ.

— Это Хорошо, что горы станут, ниже: я найду проход на ту сторону, соединюсь со своими братьями и тогда мы объявим войну людям, истребим их всех, кроме совершающих поклонение нам трижды восемнадцать раз каждый день. Пищи становится мало для всех и люди должны погибнуть, потому что стали на дороге царей Уссури, Хингана и Алиня.

Ван-Чанг хитро улыбался.

— Оставайся здесь, желтый охотник, потому что ты погибнешь, когда найдешь выход на ту сторону. Если вы соединитесь и дадите битву людям, они вас уничтожат. Это будет великая война, но вы погибнете.

— А на чьей стороне будешь ты, Ван-Чанг? — спрашивал желтый охотник, и его зелёные глаза насмешливо и угрожающе смотрели на маленькую фигуру с поджатыми ногами.

— Я очень слаб для такой битвы и останусь в стороне.

— Но кому ты желаешь победы?

— Думаю, что тогда многие люди соединятся с тиграми, — уклончиво отвечал Ван-Чанг.

Так они беседовали много времени, пока белый поток уносил камни Алиня и туманы, рождённые в море, уходили далеко в неизвестную страну за горами. Проходило два-три дня, а может быть, долгие годы, — двадцать, или тридцать лет. Кто знает: не было времени в долине Улан-Су!

Как-то разговаривая с тигром, Ван-Чанг повернул голову к морю и от испуга выронил трубку с опиумом.

Сквозь сетку дождя он увидел большой черный пароход с двумя желтыми трубами, который медленно двигался вдоль берега.

Стоя на камнях по обеим сторонам ревущего потока, тигр и человек видели, как с парохода медленно спустились лодки и направились к берегу. По мере того, как лодки приближались к скалам, Ван-Чанг и желтый охотник медленно отступали вглубь земли, покрытой вспенившимися ручьями и обломками скал.

Вечером пароход ушел, оставив на берегу толпу женщин, мужчин и детей. С той скалы, где прятался теперь Ван-Чанг, хорошо было видно, как запылали высокие костры и отблески красного пламени запрыгали на мокрых камнях, в ручье, заглянули в черную воду под берегом. Желтому охотнику не нравился яркий свет, но хитрый ламза ничем пока не хотел выдавать своего присутствия, и поэтому, тиха ступая по скалам и перепрыгивая через промоины, он удалился в узкую долину, которая тянулась до вершины Сихотэ-Алиня.

На другой день люди на берегу начали работать.

В залив Улан-Су сразу ворвалась шумная, суетливая жизнь. Ван-Чанг со страхом смотрел, как подрубленные топором, упали священные лиственницы, утопив свои вершины в глубокой воде. Вокруг зеленых великанов рядами легла вырубленная роща, в которой жил змей И-Фанг, толщиной в руку и длиною в десять шагов.

И-Фанг спасаясь, пополз по берегу ручья, таща между камнями свое длинное тело, похожее на серый канат, но от старости змей не мог найти безопасного пути в горы и направился прямо к тому месту, где двое русских поселенцев расчищали поляну.

Ван-Чанг увидел, странную вещь. Вместо того, чтобы бежать от змея, которого боялся даже

великий желтый охотник, люди с криками бросились к нему и через минуту длинное тело мудрого И-Фанга, единожды в столетие меняющего свой цвет, разбитое и раздавленное, билось под камнями. Когда русские начали взрывать скалы на берегу, чтобы расчистить место для стоянки лодок и сделать удобный спуск к морю, Поднялся такой шум, какого ещё никогда не было в заливе. Ван-Чанг бежал в тайгу и не выходил несколько дней, лежа между камнями на мокрых листьях и вслух рассуждая о безумии пришельцев.

Скалы ограждают землю от нашествия великой воды и кто колеблет их, погибнет, потому что открывает путь морю к земле. И-Фанга нельзя убить, он вновь и вновь рождается каждые сто лет и, когда явится в новой коже, блистающей, как свежая и сочная трава, он сожрет детей пришельцев, их скот и их самих.

По склону горы мимо китайца испуганно бежал волк Ли-Канг, хитрый обманщик, которого одинаково ненавидели и Ван-Чанг и тигр. Ли-Канг опустил острую морду к мокрой земле и глаза его блестели от радости. Китаец бросил в него камнем.

— Ты один рад приходу русских, потому что со всеми жил в ссоре и питался падалью, но подожди, дойдёт и до тебя очередь!

Ли-Канг насмешливо одним глазом посмотрел на китайца, отбежал на такое расстояние, куда не

долетали камни, и хрипя от душившего его смеха, завыл погребальную песню Ван-Чангу.

Прошел месяц. Подходило время муссонов, несущих с моря лиловые и черные тучи, когда горный поток разливался во всю ширину долины, и Ван-Чанг спустился посмотреть, что сделали белые пришельцы.

На холме, где жил мудрый И-Фанг, теперь стояли бревенчатые избы; кругом тянулось вспаханное поле и еще дальше рядами лежала скошенная трава. Люди и лошади работали в глубине долины, прокладывая широкую просеку в тайге; никто не мешал Ван-Чангу ходить около моря. Китаец осторожно пробрался за скалами к воде и увидел рыбу, которая сушилась на высоких вешалах. Тут же валялась убитая акула и в широкой луже, отгороженной от моря камнями, через которое сердито хлестал океан, метались страшные скаты, с плавниками похожими на крылья.

Ван-Чанг знал, что этими крыльями пятнистый скат прикрывает свою добычу, чтобы никто не видел мучительной смерти от её ударов.

Пришельцы, овладели не только землю, но и морем.

Злоба и страх овладели Ван-Чангом, Дрожащими руками он отвалил два больших камня и выпустил скатов в открытое море; разрезал ножом сети и попробовал сдвинуть одну из лодок,

но она оказалась слишком тяжела и поэтому мудрый Ван-Чанг вырезал на её дне отверстие и прикрыл его корой, чтобы течь открылась далеко в море, и белые люди не могли возвратиться на берег. Сделав все, как подобает мудрому, Ван-Чанг сидел ночью высоко в горах, над которыми плыл месяц, и слушал крик ночной птицы. Неожиданно он увидел в зарослях густого кустарника хорошо знакомую круглую голову великого желтого охотника.

— Трус, бродяга! — закричал Ван-Чанг, так что тигр попятился в, темную чащу. — Ты умеешь нападать только на беззащитных и бежишь от русских. Пойди, посмотри, что сделал я своими слабыми руками! Белые люди захватили твое владение, убили мудрого змея И-Фанга и ни разу еще не слышали твоего голоса. Даже подлый волк Ли-Канг смеется над тобой.

Зверь, щуря свои зеленые глаза, молча слушал оскорбления, которыми осыпал его Ван-Чанг и потом зарычал так грозно, что разом смолкло все живое.

Китаец понял, что желтый охотник обдумывает месть, и что скоро наступит время, когда белым людям, занявшим морской берег, придётся бежать от гнева ламзы. Совершив поклонение, какое установлено владыке тайги, Ван-Чанг попросил прощения за свои необдуманные слова.

— Я всегда готов помогать тебе в войне с белыми людьми и буду следить за ними, чтобы приносить великому охотнику все известия, какие ему необходимы.

Тигр не удостоил китайца ответом и бесшумно исчез под деревьями.

Наступило дождливое время. Из моря к горам двинулись процессии синих и белых туманов, Тяжело ползли четырехкрылые и шестикрылые драконы; шли воины со знаменами, которые колебал и рвал восточный ветер; выплывали в небо морские чудовища, которым никто еще не дал имени.

Ван-Чанг курил опиум и по целым дням смотрел на ожившее небо.

Случалось, что колесницы туманов опрокидывались, воины падали, ветер подхватывал знамена, кружил их над зубчатыми вершинами и бросал обратно в море. Вновь синело небо и сверкало солнце, но над великой водой поднималась новая клубящаяся стена и ползла к горам. Над долиной, там, где скрывался Ван-Чанг, сотни ручьев пели тонкими голосами; ниже они сливались в мутный поток и с хохотом, в бешеной пляске, неслись среди камней к берегу, Около которого вода так ревела, что могла бы заглушит голос самого желтого охотника.

Мелкие камни катились к морю, крупные

срывались с своих мест и, ломая кусты и деревья, прокладывали широкие тропинки; на берегу потока скалы дрожали и колебались, готовясь ринуться вниз через крепкую чашу, как взбесившиеся лошади. Вода смыла наполовину поля, засеянные пшеницей, унесла лодки, разрушила дорогу и подступила к избам. Каждый день все новые и новые процессии выходили из глубины вод и несли новое разрушение.

Ван-Чанг знал, что белые люди погибнут все до одного, если не догадаются подняться в горы, но там их ждал полосатый ламза.

Как-то блеснуло солнце и свесившиеся над горами белые воины, вышедшие из моря, смотрели на опустошённую ими землю. Ван-Чанг осторожно спустился в долину. То, что он, увидел, ему очень не понравилось. Пришельцы собирали камни и по сторонам потока строили две стены. Одна уже была настолько высока, что отлично защищала их от ярости воды. Другая еще тянулась вровень с рекой, но быстро росла, так как камни и бревна отовсюду носили не только мужчины, но и женщины и дети. Ван-Чангу не было жаль людей, но он жалел землю, мать всего живущего, принявшую семена и покрывавшуюся зелёными всходами. И поэтому китаец подумал, что белые люди поступают хорошо.

Когда снова пошли дожди, китаец остался

внизу, в чаще лиственниц, чтобы посмотреть, кто выйдет победителем: люди, или вода. Река уже устала уносить камни; вода хотя и поднималась, но не могла разрушить стену и Ван-Чанг решил придти на помощь туманам и дождям.

Он спустился по вязкой глине, прошел по каменной стене до того места, где река делала крутой поворот, и сбросил в нее со стены несколько обломков скал. Вода лениво плеснулась в образовавшееся отверстие, потом радостно полилась широким ручьем и вдруг разрушая преграду, всей силой, с яростным воем ринулась на поля и дома.

Ван-Чанг видел сверху, как люди спасались на крышах; видел, как двух из них смыл поток, как за утопающим бросился еще один и погиб, запутавшись в ветвях деревьев, уносимых белой водой.

Утром дождя не было и с гор подул легкий ветер. Муссон окончился. Солнце светило ярко и картина, которую видел китаец далеко внизу, заставила его невольно пожалеть о разрушенной плотине. Долина имела такой вид, как будто она только что выступила со дна моря. Всюду серый песок и камни. Возделанная земля вся унесена в море и на её месте голая скала. Уцелела только одна изба, вокруг которой жалась толпа мокрых, испуганных людей. Но их горе мало трогало

Ван-Чанга: он знал, что совершил тяжкое преступление, помогая морю унести плодородную землю, питающую семена и растения, и за это преступление он понесёт наказание. Когда китаец поднимался по обрушенным камням и оползшей земле, он увидел на глухой поляне окровавленные куски мяса и кости двух лошадей, и понял, что желтый охотник начал свое дело.

Через три дня пришел пароход.

Ван-Чанг видел, как в толпе пришельцев началось какое-то движение. Люди громко спорили и бранились. Потом толпа разделилась. Восемь человек сели в лодки и уехали, а девять, в том числе трое детей и две женщины, остались на берегу.

Всю ночь в разных местах леса слышалось грозное рычание полосатого ламзы, который радовался победе и обещал гибель всем оставшимся.

Волк Ли-Канг, с поджатым хвостом, подошел к пещере Ван-Чанга, когда китаец докуривал вторую трубку опиума, и униженно просил прощения.

Чтобы доказать свою преданность, Ли-Канг спустился в долину и убил двух собак.

С этого дня поселенцы боялись отойти от берега. Справа от них, в густой чаще кустарника и зарослях камыша, скрывался желтый охотник; слева, между камнями, сидел в засаде Ли-Канг,

ожидавая легкой добычи. Люди принялись расчищать от камней уцелевший клочок плодородной земли; работа была тяжёлая и подвигалась медленно, потому что камни глубоко ушли в почву. Ван-Чанг, боявшийся наказания за гибель жатвы, поднимался ночью с груды листьев, тихо спускался в долину, мимо логовища желтого охотника, и расчищал почву так, как даже величайшие грехи могут быть прощены небом человеку, который обращает землю в сады и хлебные поля.

Работе людей помогала одна лошадь, и Ван-Чанг с удовольствием следил за тем, как она тащила на веревках камни, которые не могли бы сдвинуть четверо сильных мужчин. Но желтый охотник тоже наблюдал за всем, что происходило внизу, и однажды ночью Ван-Чанг услышал рев, которым ламза извещал, что он убивает лошадь и человека.

Утром пришельцы похоронили изуродованный труп мальчика, убитого тигром, и два дня не выходили на работу в поле, которое расчищал теперь по ночам один Ван-Чанг.

Презренный трус Ли-Канг доел остатки лошади и по целым ночам выл, предсказывая гибель всем людям...

Иногда русские брали ружья и уходили искать тигра, но полосатый ламза умел хорошо скрываться. Они могли бы искать его многие годы

на таком пространстве земли, какое желтый охотник был способен обежать в один день, от восхода до захода солнца.

Площадь плодородной земли не расширялась и Ван-Чанг, несмотря на самую усиленную работу при свете луны, мог сдвинуть не больше десятка камней, а их было много сотен. И поэтому китаец бросил работу и все время сидел среди скал, охватив колена голыми, худыми руками, смотря на занесенную песком изуродованную землю, и думая о наказании, которое ждало его за уничтожение поля. В таком положении застал его тигр, пришедший объявит свою волю.

Зверь остановился перед камнями, так как не мог войти в узкую щель, за которой находился китаец, и стоял, ожидая поклонения, но Ван-Чанг не обратил на него внимания и только положил в трубку новую крупинку опиума.

— Слушай, — сказал желтый охотник. — С этого дня я здесь царствую. Ты и Ли-Канг будете моими рабами. Я поселюсь на берегу ручья и буду убивать всех белых, когда они пойдут носить камни, или брать воду. Кости я буду отдавать тебе и волку, и, когда долина опустеет, я начну искать прохода через горы, чтобы вместе с тобой идти на охоту за людьми по ту сторону Сихотэ-Алиня.

— Я человек! — коротко ответил Ван-Чанг.

— И ты будешь мне служить, — сказал ламза

и медленно направился к долине. За ним, как черная тень, следовал Ли-Канг.

— Я человек, — еще раз сказал Ван-Чанг.

И, когда ночная птица умолкла и над великой водой показалась белая полоса рассвета, он так же легко и быстро, как тигр, скользнул вниз в долину, к дому белых людей. Китаец знал, что за ним следил желтый охотник, и поэтому, дойдя до ручья, лёг на землю и пополз, как ползал мудрый И-Фанг.

Белые люди были все в сборе, когда отворилась дверь и вошел покрытый грязью Ван-Чанг. Дети закричали, а мужчины бросились к ружьям, но китаец опустился на скамью около дверей и знаками просил выслушать его. Показав священный амулет, на котором было изображение великого охотника, и взяв ружье, Ван-Чанг объяснил, что он желает вести людей к тому месту, где скрывался тигр, чтобы убить его.

Опять поднялся спор, так как сам Ван-Чанг был похож на зверя и пришельцы не доверяли ему. Наконец, трое взяли ружья и, пропустив вперёд китайца, молча пошли за ним.

Идти пришлось очень долго. Полосатый ламза был очень осторожен, но Ван-Чанг отлично знал все привычки зверя и не боялся неудачи.

Охотники и китаец, легли на влажную землю и ползли сначала к горам, потом спустились вниз и оказались сзади ламзы. Ветер дул с гор и поэтому

тигр не мог узнать о приближении опасности. Оставив белых людей в чаще, густо перевитой диким виноградом, Ван-Чанг выступил на небольшую поляну и воздал последнее поклонение ламзе.

Тигр встал и гневно зарычал, потому что не любил, когда его беспокоили на охоте. Ван-Чанг быстро отступил в сторону и услышал, как из чащи разом загремели выстрелы.

Великий желтый охотник упал на траву, но сейчас же поднялся и через всю поляну прыгнул на китайца. Падая, Ван-Чанг закрыл лицо руками, чтобы не видеть зеленых глаз ламзы.

Человек и зверь умерли вместе. Трусливый Ли-Канг видел, как люди подняли убитого желтого охотника и долго стояли вокруг окровавленного тела Ван-Чанга. Потом, осторожно раздвигая ветви и трусливо склоняясь к земле, Ли-Канг мелкой рысью побежал к горам, удаляясь от земли, навсегда завоёванной белыми пришельцами.

В пустыне под звездами

I

Лесопильный завод Акционерной Восточной Компании тянулся на краю китайской деревушки Чжен-Хау. Со двора, где стоял дом управляющего

Николая Васильевича Заморзина, видна была тусклая лиловая даль манчжурской степи и ряды пологих холмов, на которых в сочной траве скрывались белые, могильные камни. С другой стороны лежал поваленный лес, окутанный волнами едкого дыма. Сухой хворост, горы досок, от которых пахло медом и смолой, загорались каждую ночь, и половина рабочих-китайцев постоянно была занята тушением пожара. Огонь скрывался где-то в почве и длинные, жадные, красные змейки неожиданно расползались по траве и сухим листьям, впивались в кедры и сосны, и, окутанные густым дымом, медленно ползали в горах опилок. Огонь съедал все барыши Восточного Общества, но хуже всего было то, что он уничтожал доходы управляющего и главного инженера Федора Ивановича Крафта.

Вечером Заморзин и Крафт сидели за круглым столом, лениво пили пиво и смотрели в окна, за которыми полная луна выткала тонкое серебряное кружево и прикрыла им безвестные дороги, могильные холмы и черные отроги Хин-Гана.

— Я брошу службу и уеду, если так будет продолжаться, — сказал Крафт. — Я ехал сюда ради денег, и теперь все пропадает. А что бы вы сделали с вашими деньгами? спросил Заморзин и насмешливыми взглядом окинул маленькую фигуру Федора Ивановича. Лицо у инженера было такое,

какие встречаются на старых выцветших и пожелтевших фотографиях. Едва намеченные белые брови, глаза, взгляд которых нельзя уловить, тонкие губы и гладко прилизанные рыжеватые волосы.

— Я хочу устроить свою жизнь красиво и приятно, — спокойно ответил Крафт. — Зимой буду жить в Берлине или Петербурге, весной в Ницце, а летом в Швейцарии. Я европеец, говорю на четырех языках и везде буду себя чувствовать, как дома. Вы знаете, что у меня есть мать и невеста, и они ждут, пока я соберу ту сумму, которую мы все вместе наметили.

— Ну, у меня программа проще! — заявил Заморзин. — Вырвусь отсюда и разом пушусь во все тяжкие, — заведу разных статей любовниц, лошадей, заруюсь в шантаны и рестораны. Вы, Крафт, натура сентиментальная, поэтическая и даже слезливая, перед Юнгфрау на колени встаньте, над цветочками умиляться будете, ну, а мне размах нужен чтобы кругом все кружилось и голову кружило. Однако, давайте, спустим занавеску на окне, а то чего доброго какой-нибудь проклятый хунхуз раньше времени оборвет наши мечты.

— Да, я люблю поэзию, — сказал Крафт. — Но поэзию, созданную культурой, природу облагороженную искусством и техникой. Человек доканчивает дело начатое Богом. Он приходит и

кладет последние удары резца на мертвую материю, дает ей смысл и жизнь. Может быть, наше призвание, конечная задача людей, в том и заключается, чтобы довести до совершенства созданное Богом.

Белые брови инженера поднялись и бесцветные глаза вопросительно остановились на грузном, тяжелом, как у каменной бабы, лице Заморзина.

— Послушайте, Крафт, все это мыслелудие, опасное и нездоровое! Потому что у человека главное аппетит, желание жрать! Что жрать? — все! Вот этот лес, степь, Хин-Ган, китайцев, женщин, омаров, шампанское... все! И чем больше аппетит, тем лучше! Какое нам дело до совершенства, или несовершенства творений? Чем человек больше может сожрать, тем он лучше, выше, по вашему прекраснее. Эх, Крафт, давайте, лучше коньяку выпьем.

Инженер покорно подставил стакан и опустил глаза к грязной доске стола, залитой вином и чернилами.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал он, медленно подыскивая слова. — Но ведь необходимо, как вы говорите, жрать, со вкусом. Не станете же вы пить этот коньяк из грязного таза. Нужен бокал, и еще лучше если есть цветы, хрусталь, красивые женщины.

И женщина должна быть культурной. Тонкие кружева, которые вы можете мять и рвать, запах тонких духов, ну и знание искусства любви. У меня есть невеста, и, когда она станет женой, я буду учить ее этому искусству любви.

— Браво, Крафт! Вы умеете есть со вкусом.

— Я много об этом здесь думаю, — ответил инженер и снял со стены скрипку.

— Пойдите! — сказал Заморзин, приподнимая край занавески, за которой плыла белая ночь. — Слышите?

Крафт замер с поднятым смычком, потом встал и, осторожно ступая на носках, подошел к окну.

Где то далеко слышался смутный шум голосов, то приближаясь, то удаляясь, и, казалось, вся степь прислушивалась к этому смутному говору.

— Китайцы шумят!..

Заморзин схватил револьвер и без шляпы бросился бежать к двери; за ним в туфлях, размахивая смычком, бежал Крафт.

II

Ночь шла, озаренная блеском и сияниями. Кто-то невидимый, от неба до земли ходил по черной степи и бросал звездные огни в спокойную,

широкую реку, сыпал их над черными, гигантскими лиственницами; на твердой тропинке, вдоль изгороди, суетились китайцы и что-то кричали. Заморзин понял, что они ищут или нашли поджигателя.

— Собак! спустите собак! — кричал он, размахивая револьвером.

Старик-китаец Вуфанг открыл двери сарая и оттуда, захлебываясь от ярости, выбежали три большие овчарки. Они бешено бросились к грудам досок, потом к зарослям обожженных кустарников над рекой, в которых притаился ветер, тихо и осторожно перебиравший голые, опаленные ветки, на которых кое-где еще тлели искры, как старуха-богомолка перебирает пальцами восковые свечи.

Китайцы столпились на тропинке и вдоль реки, казавшейся бездонною пропастью, в черной глубине которой горели голубоватые звезды.

Собаки лаяли, захлебываясь от злобы, и рвались к яме, черневшей под корнями.

— Выходи! — крикнул Заморзин хриплым голосом. — Выходи! или я буду стрелять!

Все вместе, и люди и собаки, составляли одно целое, жадное и стремительное, охваченное яростью и злобой. Это была не толпа, а одно многоликое существо, над которым властвовало одно желание, смутное и страстное.

— Выходи! — еще раз крикнул Заморзин и взвел курок револьвера. Кусты качнулись, сбрасывая искры, и на поляне появился молодой китаец, покрытый копотью. Он визжал, как затравленный зверь, и лизал охватившие его крепкие руки. Почувствовав прикосновение сухих, воспаленных губ, Заморзин отдернул руку и крикнул:

— Веди его сюда!

Широко шагая, управляющий быстро пошел к середине двора, где был вкопан столб с колоколом, которым созывали рабочих к обеду.

— Что вы с ним хотите делать? — спросил Крафт. И в голосе его, жалком, дрожащем, слышалось удовольствие, почти страстное наслаждение от сознания, что сейчас произойдет что-то до боли в сердце мучительное и захватывающее, из чего нельзя пропустить ни одной черты, ни одной мельчайшей подробности.

Рабочие, обмениваясь короткими фразами, прикрутили хунхуза к столбу, так что из-под веревок выступила кровь, и отошли в сторону.

Около столба привязанный китаец, освещенный луной, казался совсем маленьким. Его бледное лицо кривилось от боли.

— Ты поджигатель? — спросил Заморзин. И, размахнувшись, тяжело два раза ударил китайца. Пойманный, что-то заговорил, выплевывая кровь.

Голос его удивительно походил на лай собаки.

— Он говорит, что леса не поджигал, а пришел купить спирту, — перевел старик Вуфанг, сидевший на корточках, рядом с собаками.

— А! спирт! — сказал Заморзин. — Хорошо, я дам ему спирту, сколько в него влезет! Вуфанг, носи сюда ведро спирту и воронку.

— Неужели вы хотите?... — спросил Крафт, холодея от ужаса.

— Какой дьявол тут с ними разберется, — сердитым голосом, по-французски, ответил Заморзин.

— Среди рабочих половина хунхузов. Либо они нас съедят, либо мы их!

Китайцы уселись на корточках вокруг столба и бесстрастно, с каменными лицами следили за тем, что происходило на сцене, залитой зеленоватым светом луны. Вуфанг, наклонясь, тащил полное ведро спирта; жидкость плескалась на траву, и в ней дрожали серебряные отблески.

— Открывай рот! — крикнул Заморзин хунхузу и трубкой железной воронки ударил его по крепким, белым зубам.

Китаец покорно раскрыл рот.

— Крафт, подержите воронку!

— Я не хочу, — ответил инженер. — И вообще все, что вы делаете, это... Я не знаю, что это такое...

— Слушайте! Держите воронку, вы! — крикнул Заморзин. — Бросьте вашу сентиментальность.

В голосе его было столько повелительности, что Крафт дрожащей рукою взял воронку, которая упиралась во что-то мягкое.

— Ну, я наливаю! Пей, собака!..

Заморзин захватил полный ковш спирту и плеснул его в жестянку. Китаец отчаянно рванулся и начал стонать. Звуки его голоса были какие-то странные, почти звериные:

— Гу, гу, гу...

— Мало тебе? Еще хочешь? Вот тебе еще!..

Заморзин плеснул новый ковш.

Китаец вдруг отчаянным движением выбросил воронку и забился на веревках. Холодный спирт облил руки Крафта.

— Не хочешь, собака? Не нравится?! А лес жечь любишь? — Придержите его, — обратился Заморзин к рабочим.

Те сидели неподвижно, как два ряда камней.

— Ну же, скорей! Вуфанг и Фучанг, живей!

Заморзин поднял револьвер. Воронку опять вставили в крепко зажатый рот, разорвав одну губу. Каждый китаец подходил и плескал спирт в черное, широкое отверстие.

Китаец сначала тяжело ухал. Потом слышно было только, как он, тяжело захлебываясь, дышит.

Скоро смолкли и эти звуки. Черные тени подходили, уходили и за ними стояли инженер и Заморзин.

— Довольно! — вдруг крикнул Крафт, не узнавая своего голоса. — Он умрет!

Никто ему не ответил. Воронка упала и китаец остался стоять с широко раскрытым ртом и удивленным, неподвижным взглядом смотрел на луну, над крышей дома.

— Наглотался? — спросил Заморзин. — Тряхните ка его!..

Кто-то толкнул тело, подвешенное на веревках. Оно качнулось, как кукла, и вдруг повернуло.

— Да убейте же его! — крикнул Крафт. — Перестаньте мучить! Дайте мне револьвер.

Заморзин засмеялся и вынув коробку спичек, начал их зажигать и бросать одну за другой в лужу спирта. Побежали синие, веселые змейки. Выросли, слились, и вдруг вокруг столба вспыхнуло высокое пламя. Огненный вихрь колебался, вздуваемый ветром, и до мельчайших подробностей видно было, как в нем корчилось и трепетало живое тело. Оно горело внутри и снаружи. Г олова казалась огненным шаром, который колебался и качался над толпой.

Китайцы, как испуганное стадо, бросились бежать в разные стороны. Заморзин взял под руку

Крафта и повел его домой.

В просторной комнате пахло духами. Со стен смотрели знакомые картины в золоченых рамках. Крафт упал на стул и закрыл лицо руками.

— Ну, выпейте коньяку! Велика важность. Одной гадиной на свете меньше, — говорил Заморзин, расхаживая по комнате.

Через занавески светило красноватое пламя догоравшего костра, и они казались окровавленными.

Перебирая друг друга, завыли овчарки и Крафту почудилось, что к их протяжному вою примешивается еще человеческий голос, страшный и томительный.

— Забудьте о ваших нервах. Как же вы, Крафт, хотите иметь средства для красивой жизни, для всех этих европейских экскурсий в область наслаждений, если боитесь воя какого-то китайца? Теперь, я уверен, лес будет цел, а это для нас с вами целое состояние. Сосчитайте-ка! Через шесть месяцев мы можем уехать.

Крафт поднял голову.

— Вы думаете, подействует? — спросил он слабым голосом.

— Ну, еще бы! — Заморзин подошел к окну. — Догорает! Вот только проклятые собаки спать не дадут.

Крафт налил стакан коньяку, залпом выпил

его и, посмотрев минуту неподвижным взглядом на огонь лампы, сказал:

— Что же, если я получу свои деньги и уеду отсюда, то, пожалуй, уж это не такая большая жертва. Где моя скрипка? Я сыграю ему похоронный марш. Да отойдите от окна, садитесь и слушайте! Ну!.. Я начинаю.

Золотая долина

— Нет, я не хунхуз. Я всегда был честным человеком и молился всем богам, какие только мне попадались от Кантона до Хабаровска, и дальше до того места, где Черная река теряется в Великой воде. Я почитаю Небо, источник всего сущего и пребывание вечной мудрости; два раза в год хожу в вашу церковь и трачу деньги на свечи. Спросите толстого попа, который объезжает этот край от Уссури до Сихотэ-Алиня. Он скажет вам, что не было лучшего китайца-христианина, чем Ван-Лин. Вон там в углу стоит Будда, сделанный из моржовой кости, и пусть мое тело лишится погребения в родных полях, если я не заплатил за этого костяного бога столько денег, что за них можно было бы купить ведро самой лучшей водки. Кроме того я поклоняюсь деревянному богу северных людей и угощаю его маслом, а, когда

сюда заходит шаман Энгер, он завывает в моей фанзе всю ночь и сжигает столько пахучей травы, что благовонный дым наполняет всю долину. Потом я совершаю поклонение ламзе, а когда во Владивостоке меня обманул странствующий человек и продал поющую и говорящую машину, уверяя, что в ней скрывается новый бог западных людей, я заплатил за нее сорок рублей и каждый день утром и вечером пел вместе с ней, пока она не состарилась и не начала кряхтеть и стонать, как издыхающий волк.

Лин-Ван благочестивый человек и за это бога послали ему награду!

Слушайте хорошенько, потому что мне нечего скрывать. Сердце мое чисто, как стёкла, через которые вы на меня смотрите, и душа моя подобна лилии.

Я не могу вам лгать, потому что Ван-Лин есть только тень ваша, вы проходите мимо него, как облака во время муссона идут над земляным червем.

Из дверей фанзы вы видите всю долину. Нет, не поднимайтесь! не утруждайте себя. Я сниму циновку, чтобы вам лучше видеть. Теперь вся долина перед вами, и вы можете рассматривать ее, как молодую девушку, которая села бы к вам на колени.

Она очень красива в своем зеленом наряде с

желтыми и красными полосами, с сверкающими камнями, связанными блестящими нитями. Каждый камень — маленькое озеро, а жемчужные нити мелкие ручьи, которые блуждают туда и сюда в густой траве, как заблудившиеся дети.

Она такая чистая и свежая, как будто ее сотворили сегодня утром, и стыдливо разворачивает пред вами синюю кисею туманов. Но пыль от ваших ног, Лин-Ван говорит, что нет долины более лживой и губельной для человека, чем этот цветущий кусок земли, затерянный в лесах Уссури.

Нет ни одной тучи, которую она не тянула бы к себе, и как только в небе появляются облака., подгоняемые восточным ветром, они все ползут сюда, оттесняя друг друга и выливая в один день столько воды, что если бы она упала на горящий Пекин, то во всем городе не осталось искры, чтобы закурить мою трубку с опиумом.

Сначала земля жадно глотает потоки дождя, как пьяница, который с утра до вечера тянет рисовую водку. И трава начинает расти, как мысли у человека, отравленного хашином, или опиумом. Вы, может быть, не поверите Лин-Вану, неспособному омочить кончик языка в море лжи, если он вам расскажет, что случилось с чиновниками, приехавшими сюда для осмотра долин.